Мариу де Са-Карнейру

Mário de Sá-Carneiro

ПРИЗНАНИЕ ЛУСИУ

A CONFISSÃO DE LÚCIO

Мариу де Са-Карнейру
Признание Лусиу

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67237796
Признание Лусиу / М. де Са-Карнейру; пер. с порт. М. Мазняк: Алетейя; 2022; 2022
ISBN 978-5-00165-446-9

Аннотация

Впервые издаётся на русском языке одна из самых важных работ в творческом наследии знаменитого португальского поэта и писателя Мариу де Са-Карнейру (1890–1916) – его единственный роман «Признание Лусиу» (1914). Изысканная дружба двух декадентствующих литераторов, сохраняя всю свою сложную ментальность, удивительным образом эволюционирует в загадочный любовный треугольник. Усложнённая внутренняя композиция произведения, причудливый язык и стиль письма, преступление на почве страсти, «саморасследование» и необычное признание создают оригинальное повествование «топовой» литературы эпохи Модернизма.

Содержание

I 10
II 36
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Мариу де Са-Карнейру
Признание Лу́сиу

Посвящается Антониу Понсе де Леану

…так мы были смутно двумя, ни один из нас не знал твёрдо, не был ли другой им самим или какой-то неопределённый другой существовал…[1]
Фернанду Пессоа «В лесу отчуждения»

Mário de Sá-Carneiro

A CONFISSÃO DE LÚCIO
Publicações Europa-América

G r a n d e s o b r a s

Перевод с португальского
Марии Мазняк

[1] Пер. И. Фешенко-Скворцовой // Пессоа Ф. Книга непокоя. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.

REPÚBLICA PORTUGUESA

CULTURA

DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS

Издано при поддержке Генерального управления по книгам, архивам и библиотекам (DGLAB)/Культура и Института Камоэнса (IP), Португалия

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Obra publicada com o apoio da DGLAB/Cultura e do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, IP – Portugal

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© М. Мазняк, перевод на русский язык, послесловие, 2022

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022

Проведя десять лет в заключении за преступление, которого я не совершал, и которое, тем не менее, никогда не оспаривал; похороненный для жизни и для мечты; уже не в состоянии на что-либо надеяться и чего-либо желать – я

наконец-то сделаю своё признание: только для того, чтобы показать свою невиновность.

Возможно, мне не поверят. Наверняка, мне не поверят. Но это уже не имеет значения. Сейчас нет смысла кричать, что я не убивал Рикарду де Лоурейру. Семьи у меня нет, а самому мне оправдание не нужно. К тому же, того, кто провёл десять лет в тюрьме никогда и не оправдают. Это очевидно.

А тем из прочитавших моё признание, кто спросит: «Но почему же Вы не признались раньше, когда было время? Почему не доказали суду свою невиновность?», им я отвечу: – «Моя защита была невозможна. Никто бы мне не поверил. А выдавать себя за обманщика или сумасшедшего было бесполезно… Кроме того, должен признаться, после всех тогдашних событий, в которые я был вовлечён, я чувствовал себя вдребезги разбитым, разрушенным настолько, что тюрьма казалась мне смехотворно лёгким наказанием.

В ней было забвение, успокоение, сон. Это был конец, такой же, как и любой другой – конец моей опустошённой жизни. Поэтому мне хотелось только одного: увидеть окончание процесса и начать отбывать срок своего приговора.

В общем, мой процесс был быстрым. О! случай казался предельно ясным. Яне отрицал, не оправдывался. А молчание – знак согласия…. И все симпатии оказались на моей стороне.

Преступление было, как, видимо, писали газеты в то вре-

мя, «преступлением на почве страсти». Cherchez la femme[2]. *Жертва – поэт, художник. Женщина, исчезнув, стала романтической легендой. А я, в итоге, стал героем. К тому же героем с налётом таинственности, что ещё больше умножало мой ореол. Из всего этого, даже независимо от прекрасной речи адвоката, присяжные извлекли смягчающие вину обстоятельства. И срок моего наказания был кратким.*

Да! вот уж действительно кратким – особенно для меня… Эти десять лет пролетели как десять месяцев. Потому что время не властно над тем, кто жил одним мгновеньем, вспышкой, вобравшей всю его жизнь. После максимального страдания ничто больше не заставит нас страдать. Переживших запредельные перепады ничто уже не заставит содрогнуться. Редко кто из живущих достигает этой вершинной точки. Но те, кто это пережили становятся или живыми трупами, *как я, или всего лишь* разочарованными, *что часто приводит к самоубийству.*

Тем не менее, ещё не доказано, что не испытать такой момент – значит прийти к большему счастью. Кто не прожил вершинную точку, возможно, чувствуют себя спокойно. Хотя я в этом не уверен. Истина в том, что все ждут этого ослепительного момента. И все несчастны. И вот поэтому, несмотря ни на что, я горжусь тем, что испытал его.

---

[2] Ищите женщину, (фр.)

Но оставим фантазии. Я не пишу роман. Я всего лишь хочу представить ясное сообщение на основе фактов. И ради большей ясности я готов пойти, похоже, неверной дорогой. Да-да, в погоне за большей ясностью моё признание будет – я уверен – самым непоследовательным, самым запутанным и неясным.

Но одно я гарантирую: в ходе моего признания я постараюсь не упустить ни одной детали, какой бы мелкой или малозначащей она ни была. В таких случаях, как мой, свет истины может родиться только из суммы множества фактов. И я перескажу только факты. Из этих фактов, кто захочет, пусть делает выводы. *От себя заявляю, что я никогда не совершал этого преступления. Иначе я бы сошёл с ума.*

Повторяю ещё раз под честное слово, что говорю только правду. Меня не волнует, поверят ли мне, но я говорю только правду — даже если она выглядит невероятной.

Моё признание – это подлинный документ.

I

К 1895 году, не знаю как, я оказался студентом изучающим, или лучше, не изучающим, юриспруденцию в Парижском университете. Праздно прожигающий свою молодость, испробовав разные *цели* своей будущей жизни, я от всех них равным образом отказался и, опьянённый Европой, решил отправиться в великую столицу. Там почти сразу я погрузился в более или менее артистическую среду, где моим постоянным спутником стал Жервазиу Вила-Нова, которого я едва знал в Лиссабоне. Любопытным человеком был этот несостоявшийся, или, вернее, заранее обречённый на провал художник.

Его внешний облик, тонкий, даже истощённый, вызывал некоторое замешательство, а очерченное ломаными линиями тело беспокоило то истерическим, опиумным женоподобием, а то, напротив, жёлчным аскетизмом… Когда его длинные волосы открывали широкий и крепкий, устрашающий лоб, они напоминали плети, лиловые вериги воздержания; когда же они волнообразно закрывали лоб, оставалась только нежность, конфузящая нежность золотистых конвульсий и кусачих поцелуев. Он всегда одевался в чёрное, носил просторные костюмы, которые придавали ему что-то от священника – и прежде всего это относилось к прямому, узкому, туго застёгнутому воротничку. Когда его лоб закры-

вали волосы или шляпа, то лицо не было загадочным, совсем наоборот. И всё же, как ни странно, в его телосложении была загадка – как тело сфинкса в лунном свете. Такие создания отпечатываются в нашей памяти не своими чертами лица, но всем своим редким обликом. Он выделялся в любой толпе, на него смотрели, его обсуждали, хотя в его силуэте, на первый взгляд, не было ничего выдающегося: костюм чёрный, хотя и великоватый; волосы длинные, но в рамках приличий, и шляпа – берет плантатора – безусловно изысканный, но такой или почти такой, какие носит большинство художников.

Однако, верно и то, что его окутывал ореол. Жервазиу Вила-Нова был из тех, про кого мы, увидев на улице, скажем: смотри, *кто* идёт.

Всё в нём очаровывало женщин. Сколько юных девиц провожали его заворожёнными взглядами, когда художник, горделивый и стройный, наведывался в различные кафе! Хотя, в сущности, это был взгляд, которым женщины одаривают особу своего пола, прекрасную и роскошную, полную алмазных переливов…

– Знаете, мой дорогой Лусиу, – часто говорил мне скульптор, – я сам никогда не обладаю своими любовницами; это они всегда обладают мной…

Когда он нам что-то рассказывал, его пламя разгоралось ещё больше. Он был замечательным собеседником, восхитительным в своих заблуждениях, в своём невежестве, которое он решительно защищал и всегда выходил победителем; вос-

хитительным в своих возмутительных и устойчивых мнениях, в своих вызывающих парадоксах и *шутках*. Высшее создание. О-о! Без сомнения, один из тех людей, которые впечатываются в сознание, будоражат память, помрачают рассудок. Весь огонь! огонь!

Тем не менее, если мы исследуем его умом, а не только завихрениями наших чувств, то вскоре поймём, что, к сожалению, вся его суть кроется в этом ореоле; что, возможно, из-за чрезмерного блеска, его гений однажды растратится на самого себя, неспособный сосредоточиться на творчестве – распылившийся, сломанный, выжженный. Так оно и вышло. Он не стал неудачником лишь потому, что обладал мужеством разбиться на куски.

К такому, как он, невозможно питать расположение, хотя, по существу, он был прекрасным молодым человеком; вот и сейчас я с грустью вспоминаю наши непринуждённые беседы, наши ночные посиделки в кафе – и в итоге убеждаюсь, что да, в действительности судьба Жервазиу Вила-Новы была самой прекрасной; а он сам – великим, гениальным творцом.

* * *

У моего друга было много знакомых в артистической среде: литераторы, художники, музыканты со всех концов света. Однажды утром он вошёл ко мне в комнату со словами:

– Знаете, мой дорогой Лусиу, вчера мне представили одну очень интересную американку. Подумайте только – очень богатая, живёт во дворце, который специально велела построить на месте двух огромных зданий, а их пришлось снести. А знаете, где это? – представьте, на Авеню дю Буа де Булонь! Роскошная женщина. Слов нет. Мне представил её тот американский художник в синих очках. Помните? Не знаю, как его зовут… Её можно встретить каждый день после обеда в Арменонвильском павильоне. Она заходит туда выпить чаю. Хочу, чтобы Вы с ней познакомились. Вы сами увидите: интереснейшая женщина!

На следующий день – в чудесный зимний послеобеденный час, полный тёплого воздуха, солнечного сияния и синего неба – мы взяли фиакр и отправились в знаменитый ресторан. Сели за столик; заказали чай… Не прошло и десяти минут, как Жервазиу тронул меня за руку. В зал вошла группа из восьми человек – три женщины, пять мужчин. Среди женщин две были миниатюрными блондинками с розово-молочной кожей и хорошо сложенным чувственным телом – как у многих прелестных англичанок. Но третья, и вправду, была божественно, загадочно прекрасна: высокий, худой стан, тонкое лицо, золотистая кожа – и фантастические, горящие, умопомрачительные светло-рыжие волосы. Её красота была такой силы, что даже пугала. Фактически, как только я её увидел, меня охватил страх, подобный тому, что мы испытываем, взглянув в глаза совершившему чудовищное, неслы-

ханное деяние.

Она бесшумно села за столик; но увидев нас, тут же подошла, протягивая руки скульптору:

– Мой дорогой, очень рада Вас видеть… Вчера мне о Вас рассказывали много хорошего… Один Ваш соотечественник… поэт… мёсье де Лорейру, кажется.

Было трудно разобрать португальскую фамилию, искажённую произношением иностранки.

– А-а… Я не знал, что он в Париже – пробормотал Жервазиу.

И, повернувшись ко мне после того, как представил меня иностранке:

– Вы его знаете? Рикарду де Лоурейру, поэт из «Жгучих»…

Я ответил, что никогда с ним не общался, что знаю поэта только в лицо, но являюсь несомненным почитателем его творчества.

– Что ж… не буду спорить… Видите ли, для меня это искусство – пройденный этап. Мне это уже не интересно… Дружище, почитайте же *диких,* чёрт побери!

Это была одна из *шпилек* Жервазиу: восхвалять новейшую литературную псевдошколу – селва-жизм, или «дикаризм», новаторство которой сводилось к тому, что их книги печатались на разносортных листках бумаги в разных сочетаниях красок и в причудливом типографском наборе. Кроме того – и это более всего воодушевляло моего друга –

поэты и прозаики-селважисты раз и навсегда отказались от мысли – «этой отрыжки прошлого»

– и передавали свои душевные порывы исключительно силлабическими рядами, которые состояли из раскованных, причудливых звукосочетаний: так они создавали новые слова, которые ничего не значили, и чья красота, по их мнению, в том и заключалась, что они ничего не значили… Впрочем, до сих пор у селважистов вышла, насколько известно, только одна книга – какого-то русского поэта с мудрёным именем. Эту книгу Жервазиу прочитать не довелось, но при этом он неустанно расхваливал её на все лады, называя удивительной, истинно гениальной…

Американка пригласила нас за свой столик и представила своих спутников: журналиста Жана Лами из «Фигаро», голландского художника Ван Дерка и английского скульптора Томаса Вествуда. Два других были американский художник в синих очках и низкорослый непоседливый виконт де Нодьер, худощавый напомаженный блондин. Что касается двух девушек, американка ограничилась лишь их именами:

– Дженни и Дора.

Потекла беседа в высшей степени учтивая и бессодержательная. Говорили о моде, обсуждали театр и *мюзик-холл* вперемешку со многими другими искусствами. Больше всех выделялся – и, собственно говоря, был единственным оратором – разумеется Жервазиу Вила-Нова. Мы, впрочем, как и всегда, под напором его интенсивной эманации, ретирова-

лись, ограничившись лишь вниманием, а иногда и одобрением, предоставив ему возможность блистать…

– Знаете, мой дорогой Лусиу, – сказал мне однажды скульптор, – Фонсека говорит, что общение со мной – это сущее *испытание.* Это трудное, утомительное занятие. Ведь я всё время говорю, не даю собеседнику передохнуть, заставляю его сосредоточиться и быть готовым отвечать мне… Да, я соглашусь, что моё общество может быть утомительным. Вы все правы.

Вы все – заметим в скобках – были все, кроме самого Жервазиу… Включая и Фонсеку, бедного художника с Мадейры, «государственного пенсионера» с тонкой бородкой, галстуком-бабочкой и трубкой – всегда молчаливого и бесцельного, печально вглядывающегося в пространство, возможно, в поисках своего потерянного острова… Блаженное создание!

После долгих разговоров о театре Жервазиу заявил, что актёры – даже самые великие, как Сара и Новелли – не кто иные как хорошо образованные комедианты, которые просто *заучивают* свои роли, и заверил – «поверьте, друзья мои, это именно так» – что настоящее актёрское искусство следует искать у бродячих циркачей; это самое *«циркачи»* было одним из его любимых словечек, и когда мы только встретились в Париже, он рассказал мне по секрету тёмную историю: как его, двухлетнего ребёнка, выкрала труппа фокусников после того, как родители бессердечно отправили его в горы Серра-да-Эштрела к няне, жене гончара, от которо-

го он, без сомнения, унаследовал склонность к скульптуре и которому, из-за подмены колыбели, очень даже возможно, что приходился сыном – разговор плавно перешёл, не помню точно как, к чувственности в искусстве.

И сразу же экстравагантная американка возразила:

– Полагаю, что вам не имеет смысла обсуждать роль чувственности в искусстве, так как, друзья мои, чувственность это и есть искусство – и, возможно, самое прекрасное из всех. Однако, даже сегодня, редко кто воспринимает это именно так. Вот скажите мне: трепетать в багряных судорогах рассвета, пламенеющих экстазах, огненных языках желания – ведь нет и не будет наслаждения, сильнее бросающего в дрожь, более волнующего, чем даже неуловимый озноб красоты, вызываемый гениальным полотном, бронзовым стихотворением, не так ли? Именно так, поверьте мне. Конечно, нужно знать, как всколыхнуть эти содрогания, *заставить их раскрыться.* А вот этого никто не умеет; об этом никто не задумывается. И потому для всего мира чувственные наслаждения равнозначны древнему размножению и сводятся к грубым объятьям, слюнявым поцелуям, омерзительным липким телесным касаниям. Но! если бы явился великий художник и избрал чувственность материалом для работы, каких запредельных, невероятных вершин творения достиг бы он!… В его распоряжении огонь, свет, воздух, вода, звуки, цвета, ароматы, дурманы и шелка – сколько новых, ещё не познанных чувственных наслаждений… Как бы я горди-

лась, будь я этим художником!… Я представляю грандиозный праздник в моём заколдованном дворце, на котором я увлекла бы вас чувственностью…. обрушила бы на вас полные тайны потоки света и разноцветного огня, пока, наконец, ваша плоть не почувствовала бы проникающие в неё огонь и свет, запахи и звуки, и как они рассеивают, развеивают, уничтожают вас!… Неужели вы никогда не обращали внимания на удивительную сладострастность огня, извращённость воды, изысканную порочность света?… Признаюсь вам, что испытываю настоящее сексуальное возбуждение *– но одухотворённое красотой* — погружая свои полностью обнажённые ноги в воды ручья, созерцая жаровню с раскалёнными углями, подставляя всё тело под яркий свет электрического светильника… Друзья мои, поверьте мне, вы станете просто дикарями, какую бы утончённость, сложность, любовь к искусству вы ни демонстрировали.

Жервазиу запротестовал: «Нет; чувственность – это не искусство. Говорить нужно об аскетизме, о воздержании. Это – да!… А чтобы чувственность была искусством? Какая пошлость… Все уже об этом говорили, или, хотя бы задумывались».

Проговаривая это, он в то же время убедительным образом давал понять, что борется с этим мнением лишь до тех пор, пока оно выглядит самым распространённым.

Среди тех, кто так и не рискнул произнести ни слова в течение всего разговора, были две молоденькие англичанки,

Дженни и Дора – при этом они ни на миг не отводили свои голубые и светлые глаза от Жервазиу.

Между тем стулья передвинулись, и теперь скульптор сидел рядом с американкой. Какая прекрасная пара! Как два их профиля хорошо вырисовывались, как гармонично смотрелись в одной тени – два хищника любви, исключительные, взволнованные, золотые вызовы загадочных запахов, жёлтые луны, багряные сумерки. Красота, порочность, извращённость и болезненность.

Резко сгустились сумерки. Влюблённая парочка из внешнего мира нашла прибежище в знаменитом заведении, почти безлюдном зимой.

Эксцентричная американка подала знак уходить; и когда она поднялась, я с недоумением заметил её необычные сандалии на босых ногах… *на босых ногах с золотыми ногтями…*

На Порт-Майо мы сели в *трамвай* до Монпарнаса, и Жервазиу начал:

– Итак, Лусиу, как Вам моя американка?

– Очень интересная.

– Да? Но Вам ведь не нравиться такого рода люди. Я Вас прекрасно понимаю. Вы – натура простая и поэтому…

– Напротив, – глупо возразил я, – я восхищаюсь такими людьми. И нахожу их чрезвычайно интересными. А что касается моей простоты…

– Ах, со своей стороны, признаюсь: я их обожаю… Я весь

млею перед ними. С такими людьми я чувствую духовное родство… то же, что я испытываю к педерастам… и проституткам… О! это ужасно, друг мой, ужасно…

Я только улыбнулся. Я уже привык и прекрасно знал, что всё это означало. Только одно: *Искусство.*

Дело в том, что Жервазиу исходил из принципа, что художник раскрывается не в своих творениях, а только в своей личности. Иными словами, скульптора, по сути, мало волновало творчество любого художника. Требовалось, чтобы сам художник и своим внешним видом, и своим поведением – словом, всем своим проявлением был бы интересным, даже гениальным:

– … потому что, друг мой, называться художником, называться гением для такой толстопузой карикатурной фигуры, как Бальзак, человека сгорбленного и раздражительного, вульгарного в своих суждениях, в своих оценках – неприемлемо; это несправедливо и недопустимо.

– Но ведь… – стал привычно возражать я и перечислил художников, по-настоящему великих творцов, но внешне совершенно заурядных. На это у Жервазиу имелось наготове множество бесценных ответов. Если, например, что случалось редко, называлось имя художника, которого он уже однажды восхвалял за его творения, он парировал:

– Мой друг простит меня, но нужно смотреть глубже. Тот, о ком Вы говорите, несмотря на заурядную внешность, весь огонь. Вам же известно, как…

И он выдумывал какую-нибудь интересную, красивую, захватывающую историю, приписывая её упомянутому человеку…

И я умолкал…

Более того, это была ещё одна характерная черта Жервазиу: лепить личность так, как ему хотелось, а не видеть её такой, какой она была на самом деле. Если ему представляли какого-либо человека без прикрас и тот, по случаю, вызывал у скульптора симпатию – он тут же приписывал ему суждения и поведение по своему вкусу; хотя на самом деле персонаж мог быть полной этому противоположностью. И конечно, раньше или позже не могло не наступить разочарование. Тем не менее, Жервазиу удавалось в течение долгого времени поддерживать иллюзию.

По дороге я не мог сдержаться, чтобы не сообщить ему:

– Вы заметили – у неё были сандалии на босу ногу и золотые ногти?

– Вот как?… Не может быть…

Экстравагантная иностранка живо впечатлила меня, и, прежде чем заснуть, я ещё долго вспоминал её саму и её свиту.

Да! как Жервазиу был прав, что я в глубине души питал отвращение к таким людям – *художникам.* То есть, к псевдо-художникам, чьё творчество умещается в их же декларациях; которые высокомерно несут всякую чепуху, делают вид, что обуреваемы очень сложными, труднопостига-

емыми чувствами и желаниями, неискренни, раздражительны и нетерпимы. В конце концов, они только показывают искусству, где оно фальшиво и поверхностно.

Но в моё душевное смятение тут же закралась другая мысль: «А что, если я презираю их – художников – потому что завидую им и не могу, и не умею быть такими, как они…».

Как бы там ни было, но при всём моём отвращении они притягивали меня как губительный порок.

Всю неделю, что случалось редко, я не видел Жервазиу.

В конце недели он появился у меня и рассказал:

– Знаете, я сблизился с нашей американкой. Она действительно удивительное создание. И виртуозная художница… А те две девушки – её любовницы. Она великая сафистка.

– Не может быть…

– Уверяю Вас.

Больше мы не говорили об иностранке.

* * *

Прошёл месяц. Я уже позабыл о светлорыжей женщине, когда однажды вечером Жервазиу неожиданно сообщил мне:

– Помните ту американку, которую я как-то Вам представил? Она устраивает завтра грандиозный праздник. Вы приглашены.

– Я!?…

– Да. Она попросила меня позвать нескольких друзей. И упомянула Вас. Она высоко Вас ценит… Вечер должен быть занимательным. В конце будет какое-то представление – несколько торжественных кульминаций, несколько балетных композиций или что-то в этом роде. Но, конечно, если это Вам затруднительно, можете не приходить. Я полагаю, Вы не любите такие вещи…

Я, по обыкновению, глупо возразил, заверив, что напротив, для меня даже большая честь составить ему компанию; и мы условились встретиться вечером следующего дня в «Клозери» в десять часов.

В день праздника я пожалел, что согласился. Я был так далёк от светской жизни… Не говоря уже об обязательном *смокинге* и бессонной ночи…

А кроме того…

Когда я пришёл в кафе – странно! – мой друг уже был там. И заявил мне:

– А!… знаете что? Нам надо ещё дождаться Рикарду де Лоурейру. Он тоже приглашён. И тоже договорился встретиться здесь со мной. А вот и он…

И Жервазиу нас представил:

– Писатель Лусиу Важ.

– Поэт Рикарду де Лоурейру.

И мы друг другу:

– Очень приятно познакомиться лично.

* * *

По дороге завязался разговор и с самого начала я ощутил неподдельную симпатию к Рикарду де Лоурейру. В его красиво очерченном арабском лице с заметными морщинами читалась искренняя, открытая натура, озарённая глубокими чёрными одухотворёнными глазами.

Я рассказал ему, что восхищаюсь его творчеством, а он поведал мне, что прочитал мой сборник новелл, и что особенно его заинтересовала новелла «Жоау Тортура». Это мнение не столько польстило моему самолюбию, сколько заставило проникнуться ещё большей симпатией к поэту, обнаруживая в нём ту натуру, которая хоть немного сможет понять мою душу. Мне и самому больше других нравилась именно эта новелла, но именно она, единственная, осталась не замеченной ни одним критиком, а мои друзья, не говоря мне ничего, считали её самой неудачной.

Речь поэта была не только блестящей, но и в высшей степени пленительной, и впервые я увидел, что Жервазиу замолчал – и слушал! – он, кто царил во всех компаниях.

Наконец наш *родстер* остановился напротив роскошного особняка на Авеню дю Буа де Булонь, освещённого волшебным красным светом из-за красных шёлковых портьер на окнах. У дверей – вереница карет: смесь более или менее приличных фиакров с немногочисленными изысканными лич-

ными экипажами.

Мы вышли.

При входе в особняк, как в театре, один лакей забрал наши пригласительные билеты, а другой незамедлительно проводил к лифту, который быстро поднял нас на второй этаж. Тогда нам открылось поразительное зрелище.

Огромный эллиптический зал с потолком в виде высокого вращающегося купола, поддерживаемый разноцветными колоннами в причудливых волютах. В глубине – странная сцена, возвышающаяся на бронзовых сфинксах, с которой ступенчатый розово-мраморный спуск вёл в широкий полукруглый бассейн с прозрачной водой. Три ряда галерей своими формами придавали всему огромному залу вид волшебного драгоценного театра.

Где-то спрятанный и оттого таинственный оркестр беспрерывно играл вальсы.

Как только мы вошли – нас объявили – все взгляды устремились на Жервазиу Вила-Нову, импозантного, великолепного в своём чёрном хорошо приталенном фраке. И тут же американка поспешила спросить наше мнение о зале. Оказывается, архитекторы закончили его всего лишь две недели назад. И этот роскошный праздник был его торжественным открытием.

Мы горячо высказали наше восхищение этим чудом, а она, чародейка, загадочно улыбнулась:

– Поэтому я очень хочу знать ваше мнение… *Но главное,*

что вы думаете об освещении…

Костюм американки был ослепительным. Она была облачена в тунику из очень специфической ткани, неподдающейся описаниям. Словно узкая кольчуга из металлических нитей, но очень необычного металла, которые растворялись в горячем сверкании, а все цвета то заунывно сливались, то шумно разливались астральными звуками отражений. *В её тунике спутывались все цвета.*

Сквозь кольчугу ткани, если присмотреться, проглядывала обнажённая кожа; а через золотистое звено выглядывал сосок груди.

Рыжие волосы были беспорядочно закручены и скреплены драгоценными камнями, которые расцвечивали эти языки пламени лучами запредельного света. Её руки жалили изумрудные змеи. И ни одного украшения на глубоком декольте… Пленительная статуя судорожного вожделения, платинового порока… И от всего её тела, в синей полутьме, исходил густой аромат преступления.

Через мгновение она оставила нас, чтобы приветствовать других гостей.

Тем временем зал заполнялся причудливой и изысканной публикой. Почти обнажённые женщины в смелых бальных платьях и недоверчивые мужчины в однообразных чёрных церемониальных костюмах. Там были лохматые светловолосые русские, белобрысые скандинавы, темноволосые курчавые южане, один китаец и один индиец. В общем, здесь со-

брался весь космополитический Париж – *набобский* и богемный.

До полуночи танцевали и разговаривали. В галереях неистово играла музыка. Объявили ужин; и все прошли в столовую – ещё одно чудо.

Чуть раньше к нам подошла американка и шепнула:

– После ужина будет спектакль – мой Триумф! Мне хотелось собрать в нём все мои мысли по поводу чувственности-как-искусства. Свет, тело, запах, огонь и вода – всё сольётся в плотской оргии, возбуждённой золотом!

.....

Когда мы вернулись в большой зал – признаюсь, меня охватил страх… я отступил назад….

Всё убранство изменилось – словно это был уже другой зал. Теперь его заполнял густой аромат, вызывавший приступы дрожи; по залу гулял странный лёгкий ветерок, *серый ветерок с жёлтыми волнами* — не знаю, почему, но мне так показалось; и что странно: лёгкие дуновения вызывали в наших телах неведомые ознобы. Но самым грандиозным, самым пленительным было освещение. Заявляю, что не в силах описать эту иллюминацию. Хотя рискну предположить, в чём кроится её неповторимость, её колдовство.

Этот свет – без сомнения электрический – исходил из бесчисленного количества разноцветных шаров с причудливыми рисунками разной прозрачности, но основные волны света нагоняли спрятанные в галереях прожекторы. Все эти све-

тящиеся потоки направлялись в одну воображаемую точку в пространстве, сходились в ней в водовороте – и уже именно из этого стремительного водоворота они по-настоящему, рикошетом отражались от стен и колонн, триумфально освещая пространство зала.

Очевидно, весь этот свет был проекцией самого света в другом свете, более того: то чудо, которое освещало нас, не казалось нам светом. Оно представлялось нам чем-то другим – флюидом нового типа. Я не придумываю; я описываю всего лишь настоящее ощущение: ощущение света, который мы скорее чувствовали, чем видели. И я не побоюсь утверждать, что этот свет не столько воздействовал на наше зрение, сколько на осязание. *Если бы внезапно нам вырвали глаза, мы бы не перестали видеть.* А самое странное, самое великолепное – мы вдыхали этим редкостным флюидом. О, да, вместе с воздухом, вместе с фиолетовым воздушным ароматом мы втягивали в себя и этот свет, который ввергал нас в искрящийся радугой экстаз, высотное головокружение; который, врываясь в лёгкие, вторгаясь в кровь, приводил наши тела целиком в колокольную отзывчивость. Да, этот волшебный свет всё снова и снова гулко раздавался в нас, расширял наши чувства, раскачивал нас, иссушал нас, дурманил нас… Под его влиянием вся наша плоть могла воспринимать судороги, запахи, звуки!…

Но не только нас, пресыщенных избытком цивилизации и искусством, разжигала эта растёкшаяся тайна. Судя по рас-

терянным лицам и нетерпеливым жестам остальных зрителей, это огненное колдовство рыжей ведьмы завораживало всех своим потусторонним светом, своим *эротизирующим* светом.

Но внезапно всё освещение преобразилось, рассеиваясь дугообразным скольжением; и другое более плавное содрогание охватило нас, сменив укусы на изумрудные поцелуи.

Какая-то проникновенная музыка звенела в этой новой заре неизвестными ритмами – хрупкий речитатив, в котором переплетались, сталкиваясь, хрустальные бутоны; лезвия мечей мягко драпируя, охлаждали воздух; влажные полоски звуков тонко испарялись…

Наконец: готовых уже к тому, чтобы раствориться в последнем экстазе души – нас остановили, чтобы преподнести ещё одно наслаждение.

В глубине сцены занавес раскрыл сияющие утренней зарёй декорации… Беспокоящий свет погас, и теперь нас освещали только потоки белого электрического света.

На сцене появились три танцовщицы. Они вышли с распущенными волосами в красных болеро, оставляя груди свободно колыхаться. Тонкие развевающиеся газовые юбки обхватывали бёдра. Между болеро и газовой юбкой ничего не было – полоска обнажённого тела, на которой виднелись нарисованные символические цветы.

Балерины начали танцевать босяком. Они вращались, прыгали, сходились в группу, чтобы переплестись телами,

впившись друг другу в губы…

Волосы первой были чёрными, а кожа сияла солнцем. Ноги, выточенные из авроры, исчезали в ярком свете, чтобы рядом с лоном проявиться едко возбуждающей, затягивающей, бронзовеющей невестинской плотью. Но более всего они воздействовали исходившим от них прозрачным томлением, заставлявшим представлять большое синее озеро с кристально-чистой водой, куда однажды лунной ночью они бы опустились, нежные и босые.

Вторая балерина обладала типом испорченного подростка: худая – однако с довольно развитой грудью – с пепельно-светлыми волосами, смазливым личиком и курносым носиком. Её по-мужски изломанные твёрдыми мышцами ноги пробуждали звериное желание впиться в них.

И наконец третья, самая возбуждающая, была одновременно и самой холодной: с очень светлой и мягкой кожей, стройная, своими мертвеннобелыми бескровными ногами вызывающая мистические чувства.

Тем временем танец продолжался. Постепенно движения убыстрялись, пока наконец их губы, подёргиваясь, не слились воедино, и, – сорвав одежды, обнажив груди, животы и лона, – их тела не сплелись, извиваясь, содрогаясь в распутном оргазме.

Занавес опустился в той же святящейся безмятежности…

Затем последовали другие изумляющие сцены: обнажённые танцовщицы, преследуя друг друга в бассейне, обыг-

рывали сексуальную привлекательность воды; волшебные баядерки разбрызгивали ароматы, которые обволакивали и околдовывали фантастическую атмосферу зала; триумфальные пирамиды обнажённых тел являли взору сладострастные видения, полные ярких красок, взвихрённых судорог, симфоний шелков и бархата, развевающихся над нагими телами.

Но все эти чудеса при всех своих невероятных извращениях не возбуждали в нас физически похотливые животные желания; наоборот, только душевное томление: жгучее и в то же время мягкое – необычное, восхитительное.

Нас погрузило в атмосферу вседозволенности.

Тем не менее, горячечно-бредовый трепет наших душ был спровоцирован не только эротическими видениями. Никоим образом. Другой причиной нашей дрожи было ощущение, полностью совпадающее с тем, которое мы испытываем, слушая прекрасную партитуру в исполнении виртуозного оркестра. И чувственные сцены были лишь одним из инструментов этого оркестра. Остальными инструментами были свет, запахи, цвета… Да, все эти элементы слились в восхитительное целое, которое ширилось и проникало к нам в душу; и только его наша душа уже издалека лихорадочно воспринимала как глубочайшие перепады. От нас осталась одна душа. *Наши плотские желания рождались только из этой души.*

Однако, ничто не могло сравниться с последним представ-

лением.

Свет, расходясь теперь струями с высоты купола, заблестел более насыщенно, более остро и проникновенно – и занавес раскрыл какую-то условную азиатскую сцену. Под звуки тяжёлой, хриплой, далёкой мелодии появилась *она* – рыжеволосая женщина…

И начала танцевать…

Её окутывала белая, с жёлтой вышивкой, туника. Беспорядочно распущенные волосы. Фантастические украшения на пальцах; блистающие звёздами босые ступни…

Ах, как же описать её бесшумные, влажные, хрустально-холодные шаги; морской прибой волнообразных движений её тела; изысканный алкоголь её позолоченных губ? А всю эфирную гармонию её мимики; всю туманную расплывчатость, что вздымали её пируэты?

Тем временем, в глубине сцены, на таинственном алтаре, разгорелся огонь…

С каждым шагом её туника всё более соскальзывала, пока, в задыхающемся экстазе, танцовщица не сбросила её к ногам… О, да! в этот момент, узрев чудо, которое нас пронзило, никто не смог сдержать крик изумления…

Её химерическое и рафинированное, обнажённое тело литургически возвышалось среди тысячекратных нереальных мерцаний. Подобно губам, соски грудей и лоно были позолочены… бледным, болезненным золотом. И вся она извивалась в ярко-красном мистицизме, желая отдаться огню…

Но огонь ускользал от неё…

Тогда, в последнем ожесточённом желании, она снова взяла свои покрывала и скрылась под ними, оставив обнажённым только золотое лоно – ужасный цветок плоти, нервно вздрагивающий в розовых агониях…

Победительница, всё вокруг неё было в огне…

И, снова обнажённая – горящая и дикая – она прыгала теперь среди языков пламени, разрывая их и вновь спутывая – *обладая* всем этим пьянящим огнём, что опоясывал её.

Но в самом конце, насытившаяся после странных эпилептических припадков, чудесным, необычайным прыжком, словно метеор – рыже-огненный метеор – она, наконец, бросилась в то озеро, где тысячи скрытых лампочек отливали свинцово-синим светом.

Это был апофеоз.

Вся синяя вода, поглотив её, забурлила, обернулась красной от раскалённых углей, горящей от её тела, в которое проник огонь… И, одержимая страстным желанием угаснуть, обнажённая хищница нырнула… Но чем глубже она погружалась, тем ярче она светилась…

… До тех пор, пока наконец, загадочным образом, огонь не потух и не превратился в золото, а её мёртвое тело геральдическим знаком плавало на золотящихся водах – спокойных и тоже мёртвых…

……

……

Вернулся нормальный свет. Самое время. Женщины были на грани нервного срыва; мужчины с багровыми лицами беспорядочно жестикулировали…

Двери распахнулись, и мы сами, растерянные, без шляп – раскрасневшиеся и смущённые – оказались на улице… Прохладный ночной воздух, ударив в лицо, заставил очнуться, и словно пробудившиеся от сна, который мы все трое видели, мы беспокойно озирались в немом испуге.

Да, впечатление было настолько сильным, чудо таким завораживающим, что у нас не хватило мужества вымолвить ни слово.

Раздавленные, ошеломлённые, все разбрелись по своим домам…

На следующий день – после одиннадцатичасового сна – я уже не верил в странную оргию: *«Огненную Оргию»,* как назвал её потом Рикарду.

Я вышел поужинать.

Когда я входил в кафе Риц, кто-то похлопал меня по плечу:

– Ну, как Вы поживаете, дорогой друг? Ваши впечатления?

Это был Рикарду де Лоурейру.

Мы вдоволь наговорились о необычайных вещах, свидетелями которых стали недавно. И поэт пришёл к выводу, что сейчас всё это представляется ему больше видением виртуозного онаниста, чем простой реальностью.

* * *

Что касается рыжеволосой американки, я больше её не видел. Сам Жервазиу перестал говорить о ней. И, словно бы речь шла о потусторонней тайне, о которой лучше не упоминать – мы больше никогда не говорили о той волшебной ночи.

Если воспоминание о той ночи навсегда отпечаталось в моём сознании, то не потому, что я его пережил, – а потому, что именно в ту ночь началась моя дружба с Рикарду де Лоурейру.

Вот в чём дело: мы соотносим некоторые случаи нашей жизни с другими, более существенными, – и часто вокруг одного поцелуя вращается весь мир, всё человечество.

Впрочем, в данном случае, что могла значить одна, пусть и фантастическая ночь в сравнении с нашей встречей – *встречей, положившей начало моей жизни?*

Ах! без сомнений, предопределённая свыше дружба, которая началась по такому странному, такому волнительному, такому золотому сценарию…

II

Спустя месяц после знакомства мы с Рикарду стали не только неразлучными товарищами, но и по-настоящему близкими, искренними друзьями, между которыми не было непониманий и почти не было секретов.

Моё общение с Жервазиу полностью прекратилось, тем более что в скором времени он и вовсе вернулся в Португалию.

Да! сколь отличной, сколь более непосредственной, более нежной была близкая дружба с моим новым товарищем! И как далеки были теперь эти язвительные заявления Жервазиу Вила-Новы по любому поводу, вроде таких:

– Знаете, Лусиу, Вы даже не представляете, как я сокрушаюсь о тех, кому не нравятся мои работы. (Его работами были скульптуры без головы и ног, он только высекал напряжённые, согнутые, безобразные торсы, на которых, однако, выделялись порой детали, превосходно обработанные резцом). Но Вы не думайте, что это я о себе. Я-то знаю цену своим творениям. Это я *о них,* бедняги, им не дано почувствовать эту красоту.

Или вот ещё:

– Поверьте, мой дорогой друг, Вы зря сотрудничаете с этими второсортными газетёнками…

Вы торопитесь сразу печатать свои произведения. Насто-

ящий художник должен как можно дольше сохранять своё произведение неизданным. Представьте, если бы я выставлялся при любой возможности… Я ещё могу понять, если бы Вы выпустили только одну книгу, да ограниченным тиражом; да по 100 франков за экземпляр, как сделал… (и он назвал имя того русского поэта, лидера селважистов). – Нет! мне претит любая шумиха!…

Моё общение с Рикарду – что существенно – с самого начала было гораздо больше беседой родственных душ, чем разговором интеллектуалов. Впервые я встретил действительно того, кто смог проникнуть в самые потаённые уголки моей души – самые чувствительные, самые болезненные для меня. И это оказалось взаимным – как он поведал мне чуть позже.

Мы не были счастливы – о, нет! Наша жизнь протекала в муках смятений, непониманий, скрытых влечений…

Мы поднимались выше: мы галлюцинировали над жизнью. Мы могли бы упиваться нашей гордостью, если бы захотели, – но мы только страдали… так страдали… Нашим единственным спасением было творчество.

Когда Рикарду де Лоурейру описывал мне свои душевные мучения, он сбивчиво признавался, пользуясь при этом причудливыми образными выражениями:

– Ах! мой дорогой Лусиу, поверьте мне! Ничто меня уже не пленяет; всё мне наскучило, от всего тошнит. Редкие моменты вдохновения тут же улетучиваются; ведь, стоит мне

только подумать о них, оценить их, как я нахожу их такими убогими, такими тривиальными… Хотите, расскажу?

Раньше, ложась поздним вечером в постель, перед сном я начинал мечтать. И уже через несколько мгновений я был счастлив этими неопределёнными мечтаниями о славе, любви, восторгах… Но сегодня я уже и не понимаю, на какие именно мечты я должен опираться. Самые смелые я заключил в некую крепость… но они опостылели мне: постоянно одни и те же – и невозможно отыскать другие…

Также мне надоели вещи, и не только те, которыми я владею; на меня наводят скуку и те, которых я не имею, потому что, как в жизни, так и в мечтах, они всегда одни и те же. Да, я могу иногда сокрушаться из-за того, что не обладаю чем-то, чего совсем не знаю, но правда и то, что, проникнув глубже в себя, я тут же убеждаюсь: Боже мой, да если бы я этим обладал, ещё сильней была бы моя боль, моё отвращение…

Таким образом, сегодня моё безотрадное существование имеет единственную цель – *убивать время.* Когда я путешествую, или пишу – одним словом, когда я живу – поверьте, то лишь для того, чтобы расходовать мгновения. Но очень скоро, я уже предчувствую, мне всё это до смерти наскучит. И что тогда делать? Я не знаю…не знаю…Ах! какая бесконечная горечь…

Я принялся ободрять Рикарду; давать ему примитивные советы как: выбросить из головы эти удручающие мысли. Прекрасное будущее ждёт его впереди. Надо только набрать-

ся смелости!

– Прекрасное будущее?… Послушайте, друг мой: до сегодняшнего дня я так и не *увидел* себя в своём будущем. А то, в чём я себя не *вижу,* никогда со мной не случится.

После такого ответа я выдал немой вопрос, на который поэт тут же отреагировал:

– Ну да, видимо, Вы не поняли… Я Вам ещё не всё объяснил. Послушайте: с самого детства, когда я размышляю о возможных ситуациях в человеческих судьбах, я или сразу *вижу* себя в них, или *не вижу.* Например: то, где я никогда себя не видел – это сама жизнь; и скажите мне, действительно ли мы живём? Позвольте, я расскажу подробнее:

В моём детском воображении романтическим образом составлялись тысячи схем любовных приключений в том виде, как их все переживают. Так вот: когда я представлял их более детально, я никогда не видел себя среди будущих действующих лиц. И до сих пор я тот, кого нет ни в одном из этих возбуждающих эпизодов. Не потому, что я пытался бежать от них… Я никогда ни от чего не бежал.

Тем не менее, в моей жизни было одно странное, даже слегка постыдное происшествие. Теперь я всё чаще прихожу к выводу, что это печальное приключение должно было иметь какой-то исход. И я представлял его очень отчётливо. Тем не менее, в *нём я сам* никогда не фигурировал. А вот в некотором другом исходе – да. *Этот другой,* однако, мог произойти только через меня. Но через меня – это очевидно

– он не мог произойти, это было невозможно. Прошло время… Могу Вам только сказать, что на самом деле случилось именно «невозможное»…

Я был прилежным студентом, но никогда не представлял себя окончившим обучение. И вот, в один прекрасный день я внезапно, безо всякой причины, бросил университет… И сбежал в Париж…

Столь же мало я представлял себя в практической жизни. Даже сегодня, в свои двадцать семь лет, я так и не смог заработать на жизнь своим творчеством. К счастью, я в этом не нуждаюсь… Я так и не вступил в жизнь, в обычную Жизнь с большой буквы – в социальную жизнь, если угодно. И что примечательно: я – одиночка, знающий половину общества; изгой, не имеющий долгов и прочих изъянов; человек, которого все уважают, но никуда не зовут… Именно так. В самом деле, я никогда не *видел,* чтобы меня где-нибудь ждали. Даже в тех кругах, где я вращаюсь, не знаю почему, я всегда чувствую себя чужим…

Всё это ужасно; временами меня мучает этот мой дар предвидения. Так, если я не *вижу* законченным какое-то произведение, замысел которого воодушевляет меня, можете быть уверены, что мне не удастся его осуществить, и что я очень скоро разочаруюсь в этой задумке – хотя в глубине души считаю её восхитительной.

Скажу яснее: это ощущение, в конце концов, точно такого же свойства, хоть и с противоположным знаком, как и дру-

гое, возможно, более знакомое Вам – ощущение *дежавю.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.